

Книда За Книдой



С. ГОЛУБОВ

ДЯДЯ ИПАТ И ЧАЙКА



Детиз. 1946



С. ГОЛУБОВ

ДЯДЯ И ПАТ И ЧАЙКА

РАССКАЗЫ

Рисунки О. Верейского

*Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1946 Ленинград*

С. Н. ГОЛУБОВ

Писатель Сергей Николаевич Голубов родился в 1894 году. Гимназию окончил в Саратове, студенческие годы провел в Москве. По окончании университета был призван в армию, участвовал в первой мировой войне, был тяжело ранен. С 1918 года С. Голубов служил в Красной Армии, воевал с белыми, командуя полком на Северном Кавказе.

После демобилизации С. Голубов десять лет работал в советском аппарате, затем начал писательскую деятельность. Первый рассказ напечатал в 1933 году. В последующие годы выходят его исторические романы: «Из искры пламя», «Солдатская слава», «Багратион».

В этой книжке напечатаны два рассказа С. Голубова — «Дядя Ипат и Чайка» и «Секрет славы».

Для среднего и старшего возраста

Ответств. редактор К. Пискунов. Худож. редактор С. Садомская.
Техн. редактор И. Румянцева. Подписано к печати 20/XI 1945 г.
1 п. л. (1,4 уч.-изд. л.). Тираж 75 000 экз. А10959. Заказ № 3108.
Цена 80 коп.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сушеvский вал, 49.



ДЯДЯ И ПАТ И ЧАЙКА

I

Разгуливая по болотистым равнинам, ветер пронзительно свистел и с бешеной силой швырял на пустынные лесистые холмы мельчайшую дождевую россыпь. По серому небу мчались стаи рваных черных туч. Холодный туман колыхался, как море, над хлипкими, вязкими дорогами. Песчаные берега каналов сползали вниз сыпучей лавиной. Русская армия быстро шла навстречу французам. Вечером 19 ноября 1805 года усталые, голодные и промокшие войска стали на бивак между австрийскими селениями Аугестом, Праценом и Блазовицем, неподалеку от маленького городка Аустерлица. Дальше идти было некуда и незачем: впереди маячили французы. И огни лагерных русских костров рас-

тянулись восьмиверстной оранжевой полосой по направлению к горам.

Широкие биваки неприятельских войск тоже были ярко освещены. Гул восторженных криков доносился оттуда до Працена и даже до Брюннского шоссе, где стоял авангард русской армии под начальством генерала Багратиона. Знаменщик Азовского пехотного полка, высокий, пожилой, но ловкий и сноровистый унтер-офицер Ипат Старичков слышал, как полковой шеф, генерал-майор Готовцов, говорил батальонным и ротным командирам:

— Не иначе, как сам Бонапарт приехал позицию осматривать. По кострам нашим и о нас, поди, сейчас судит. Итак, поздравляю, господа, с боем! Впишется завтра в историю немало новых славных имен...

Последних слов полкового шефа Старичков не понял. Что за история? Какие имена? Однако главное ему было ясно: битва завтра предстоит грозная — на жизнь и на смерть, до последнего вздоха. Ведь для таких-то битв и существует на свете Наполеон. Не более двух верст отделяло знаменщика от великого воителя. Простой русский солдат и Бонапарт были почти рядом — рукой подать. Близость непостижимая! От этих торжественных мыслей Старичков ахнул потихоньку. И вдруг перестал чувствовать едкий холод под шинелью, гремячую пустоту в животе и ломоту в истомленных долгим походом ногах. Вот это впрямь история! Да еще, какая!..

II

После многодневной непогоды утро 20 ноября встало розовое и сверкающее. Аустерлицкое поле неожиданно потонуло в ярком разливе солнечного блеска.

Было семь часов. Вторая колонна русских войск двинулась левым флангом через овраг между Сокольников и Тельницей — двумя малыми деревушками, пристроившимися к широкому плоскодонному ручью. Зеленые мундиры и белые перевязи пехоты замелькали вдоль ручья. Стрелковая цепь быстро перебиралась на французский берег. Неприятель действовал из леса — выскакивал, как волк, и снова прятался.

Вскоре прекрасную картину открывавшегося боя затянуло синим пороховым дымом. Кое-где загромыхали пушечные выстрелы. Обе линии — русская и французская — то подавались вперед, то отступали, и батареи уже начинали переходить из рук в руки. Ядра рвали землю. Гранаты бойко прыгали между солдатскими рядами. Дым сделался так густ, что только по крикам можно было судить о движениях войск. Саксонские драгуны — рослые, видные люди с косами, в красных куртках с зелеными отворотами — на крепких, сильных конях вынеслись из леса к ручью и врубались в азовские батальоны. Натиск этой конницы по неожиданности и быстроте был жесток. Ни беглый шереножный, ни залповый огонь не смог задержать саксонцев. От блеска штыков, на которых молнией сверкало солнце, ярились драгунские кони и, ослепленные, мчались вперед. Азовцы подпускали драгун к самым своим рядам и кололи их лошадей в глаза и морды. Задние стреляли по всадникам. Саксонские палаши свистели в воздухе, вздымаясь над русской пехотой подобно стальному лесу...

Старичков высоко вскинул древко знамени, отчего ветхое полотнище несколько раз плавно всплеснулось над его головой.

Как и всегда, когда он держал знамя, ему казалось, что не он несет его, а наоборот, оно ведет его за собой.

Казалось ему еще и другое: сам Старичков — живой человек, но, как и все прочие люди, жив, пока не помер; знамя же бессмертно; жизнь знамени — особенная, никогда не кончающаяся жизнь. Что бы ни случилось, сколько ни легло бы в кровь и пыль сраженных азовцев, полк Азовский не может исчезнуть с лица земли... А с ним неразлучно и знамя. Перед такой необыкновенной жизнью — огромной и полной величия и силы — собственная жизнь Старичкова представлялась ему чем-то совсем маленьким, незначительным. И если бы понадобилось отдать за знамя эту свою крохотную жизнь, он бы и на миг не задумался... Шеф Азовского полка проскакал на гнедом коне через линию свалки. Широкая грудь генерала Готовцова бурно дышала. Шляпа съехала на ухо. Полуседые волосы вились по ветру. Лицо было красно.

— Повертывай знамя! — хриплым голосом прокричал он Старичкову. — Выноси назад! Барабаны! Бей отход!

III

Что же произошло?

Еще накануне главные русские силы заняли лесистые праценские высоты. Отсюда и начали они утром свое наступление на Сокольниц, в обход французского фланга. Но стоило им спуститься с высот, как Наполеон бросился на Працен. Он хотел овладеть им, чтобы прорвать центр русской позиции. Ночью, задумав этот ловкий маневр, он передвинул свою пехоту между Пунтовицем и Праценом, в глубокую лошину. Здесь, за крутыми откосами лога, в черном дыму, она и скрывалась до сих пор. А теперь вдруг вышла в тыл русским и кинулась в атаку на Працен.

Старичков не знал, конечно, всех этих обстоятельств. Однако опытный солдатский взгляд его живо разгадал смысл внезапного отступления. Азовцы видели, как знамя их медленно повернулось и не спеша поплыло назад, к Працену. Полк отходил с боем — перекатными цепями. То же делали и соседние части. У крутых взгорьев Працена к шестой пехотной дивизии подъехал на старом чалом коне главнокомандующий. Кутузов был спокоен. Много раз случалось Старичкову наблюдать его и на смотрах и в огне жестоких баталий. Но никогда не казался он знаменщику таким холодно-твердым, как в эту отчаянную минуту. Главнокомандующий вытер перчаткой глаз, простреленный давным-давно, еще под Очаковым, и с тех пор непрерывно слезившийся. Потом, подняв белую пухлую руку, показал нагайкой на лесистый гребень праценских холмов.

— Дети! — сказал Кутузов, и сквозь грохот боя слова его разнеслись по всем трем полкам первой бригады. — Дети мои! Здесь стать и стоять до крайнего! Шагу французам наверх не дать ни единого!

Генерал Готовцов хлестнул своего гнедого. Прыгая через кусты, срываясь на обвалах, горячий конь выскочил на крутизну. Следом ринулись занимать Працен полки Азовский, Низовский и Белозерский. Старичков бежал впереди. И опять — не он ташил на плече своем тяжелое знамя, а оно поднимало его за собой все выше и выше.

IV

Прошло уже два часа с тех пор, как русские войска, вновь завладев Праценом и крепко став на нем, отбивали непрерывные атаки французов. Частые залпы неприятельских орудий сливались в сплошной, ни на мгню-

венье не смолкавший гром. Картечь, ударяясь о деревья, ломала сучья и ветки. От этого возникал странный шум — словно огромная стая птиц летела над головами, хлопая крыльями. Вероятно, шум этот был силен, так как и грохот артиллерийской канонады не мог заглушить его. Из дыма и пыли вокруг Старичкова сбилось стоячее облако. И поверх этого облака плескалось знамя Азовского полка.

Старичков зорко следил за тем, что происходило возле него. Вот ядро сняло голову с ефрейтора знаменной роты. Вот французские кирасиры в блестящих латах и высоких шишаках затоптались на месте под прицельным огнем азовцев, залегших за плетнем, и повернули назад, валясь с огромных своих коней наземь. Потом налетели французские гусары. Эти были в зеленых мундирах. Они мигом перенеслись через плетень, и тут запылали бешеная сшибка.

Старичков хотел податься со знаменем в сторону, к кустам, и уже выбрался было из гуши французского наскока, но могучий удар гусарской сабли рассек ему кивер с помпона до боковой чешуи. Голову знаменщика заволокло горячим туманом. Он облизнул губы — на них была кровь. «Эх, плохо! А знамя-то, знамя!» Французский офицер крикнул своим солдатам:

— Зарубите поскорей этого прохвоста! Убейте его!

Старичков не понял его слов. Но он не сомневался в том, что ничего хорошего они означать не могли, и поэтому опять кинулся к кустам. Ему казалось, что он бежит. А на самом деле его ослабевшие ноги еле плелись шаткой ощупью по неровной почве. Несколько всадников враз наскочили на Ипата. Смятый копытами их коней, он упал и уткнулся лицом в землю, судорожно комкая под собой знамя. Какой-то гусар рубанул его саблей вдоль спины. Другой выстрелил в него из



пистолета. Третий ткнул чем-то острым в поясницу. Это было очень больно — удар пришелся в кость. Старичков зажмурил глаза, ожидая смерти. Но смерть не пришла ни в этот момент, ни в следующий...

Картель визжала — французы били сажень на шестьдесят, не далее. Русская пехота лежала кругом, как снопы на неубранном поле. Выли трубы, трещали барабаны, где-то, уже не близко, выкрикивались названия Азовского, Низовского, Белозерского полков.

«Видать, уходят наши!» с отчаянием догадался Старичков.

Однако сам он не только идти, но и с земли подняться не мог.

«Знамя!.. Знамя!..» Сделав невероятное усилие, раненый оторвал от древка священный лоскут и, прикрывая его грудью, начал быстро свертывать пополам и начеверо. Губы Ипата нет-нет да и прижимались к ветхому шелку. От этого на шелке оставались темные пятна крови и слез. Наконец работа была кончена. Тогда Ипат живо расстегнул мундир и засунул под него знамя...

V

Снова моросил мелкий холодный дождь. Дороги потонули в черной жиже. Лошади надсаживались, вытягивая из грязи фургоны, завязшие до колесных ступиц. Конвойные французские солдаты, сопровождавшие обоз с ранеными, яростно ругали скверную погоду, дороги, лошадей и полумертвый груз, громоздившийся на повозках. Действительно, можно было взбеситься от злости посреди этой мешанины из людей, пушек, зарядных ящиков, артиллерийских парков и лазаретных фургонов. Все это с грохотом, бранью и криками еле тащилось

вперед, стараясь вырваться из тесноты и опередить соседей...

Где-то трубили сбор. Старичков горестно слушал странную мелодию этого чужого сигнала. Куда он попал? Куда везут его и зачем? Ранец Ипата был искрошен сабельными ударами, и все, что хранилось в нем — хлеб, соль, чай, смена белья и сапожная щетка, — давно вывалилось наружу. Исковерканный кивер болтался возле шеи на сломанной чешуйчатой застежке. Какая-то тупая одубелость тела мешала Старичкову ощущать в полной мере боль от покрывавших его ран. И одубелость эта была счастьем. Ипата бросили в фургон таким образом, что туловище и правая нога его находились в повозке, а левая, раздробленная конским копытом, была приторочена постромкой к боковой перекладине кузова. Поэтому, когда фургон на выбоинах подбрасывало кверху, больная нога лишь покачивалась, не задевая за другую. И это тоже было счастьем. Но что означали такие счастливые мелочи в сравнении с громадным бедствием, обрушившимся на весь Азовский полк! Плохо, что Старичков попал в плен. Однако неизмеримо хуже было другое: вместе с ним оказалось в плену и полковое знамя. Случилось то, чего никогда не бывает: вечно единая жизнь полка и его знамени разорвалась. Азовцы там, а знамя здесь. Старичков с отчаянием думал о том, как свести опять вместе разошедшиеся концы целого, и с ужасом видел, что ничего, совершенно ничего не может придумать. А если его завезут куда-нибудь, да и пристрелят? Или сам он не выдержит и помрет? Что тогда станет со знаменем? Зубы Ипата стучали, но не от холода и боли, а от страшных, безысходных мыслей...

У спуска к какой-то реке медленный ход обоза совершенно застопорился. Мост через реку горел, а пон-

тоны затопило водой. Шум и крики на берегу слились в оглушительный гам. Здесь обоз неподвижно простоял до ночи. В сумерки Старичкову стало так худо, что он забылся. Ему чудилось, будто французские гусары сняли с него голову совсем напроочь. Голова сама по себе и тело тоже, а между телом и головой — холодный воздух. Но и в таком ужасном положении мысль о спасении знамени ни на минуту не покидала Ипата. Когда он пришел в себя и открыл глаза, многое кругом изменилось. Правда, обоз все еще стоял на прежнем месте, у спуска к реке, и неразбериха продолжала кипеть, не затихая. Но дождь прекратился. На черном ночном небе ярко горели, вздрагивая, словно от стужи, бледно-голубые звезды. В фургоне сидел, свесив ноги, молодой рядовой в шинели с красным мушкетерским воротником. У этого рядового были широкие скулы, бойко вздернутый кверху веселый нос и острые, как гвоздики, быстрые серые глаза. Правая рука его была обмотана каким-то тряпьем.

— Эх, дяденька, какво вас расковыряли!.. — сочувственно и уважительно проговорил он. — Очень даже сильно расковыряли!.. В забывчивости вы находились. А я слушал: все про знамя представлялось вам. Не знаменщик ли будете? А я рядовой третьей роты Бутырского мушкетерского полка Чайка. Прозванье такое у меня — Чайка... Да что я к вам с речами пустыми пристал, дурень какой, ей-пра! Скусить охотки нет ли? У меня имеется: с собой унес в манерочке кашицы жиденькой. Не вгодно ли?

И Чайка действительно вытащил из-под шинели манерку и, опасливо оглядываясь, приложил ее горлышком к губам Старичкова.

— Тяните, дяденька, не смущайтесь!

VI

Раненых пленников разместили в большом кирпичном доме с деревянными брусяными углами. Это был странный дом; таких в России не строят. Кирпич и дерево разошлись на пазах, и через сформовавшиеся по этой причине широкие скважины в горницу, где лежал на скамейке Старичков, вольно задувал осенний холодный ветер. От холода раны Ипата болели сильнее и сильнее. Лекарь прижег их ляписом. Тогда боль сделалась невыносимой. Однако главные страдания Старичкова заключались не в боли: как ни была она ужасна, судьба знамени мучила его больше. Все, что только может притти в голову человеку, который днем и ночью лежит неподвижно на одном и том же месте, самым пристальным образом думает об одном и том же вопросе, — все это Ипат тысячу раз перебрал в своих мыслях и не придумал ровно ничего. Знамя было на нем. Но силы оставляли его час по часу. И он знал наверняка, что проживет еще много-много неделю. А что же потом? Ложиться вечно живому знамени в землю вместе с искалеченным телом мертвого азовца? От бесплодного напряжения мозга рождалась в Старичкове жгучая, остро тревожная тоска. А от тоски напал на него червяк — даже по соломе, на которой лежал он, расползались отвратительные белые черви.

Кабы не Чайка, вовсе пропал бы Старичков. Но молодой мушкетер с трогательной заботливостью ходил за Ипатом. Ловок, старателен и находчив был Чайка: то переберет солому, а то откуда-то свежей притащит полную охалку, то поднесет водицы, то покормит — всегда с лаской и нежностью, с добрыми утешливыми словами.

Каши выдавали пленным так мало, точно они были

не люди, а воробьи. Однако Чайка и с голоду не бедовал. «Хорош солдат!» думал о нем Ипат.

Однажды мушкетер подсел к знаменщику с кашным котелком и, по обыкновению, заговорил, будто бабка над малышом:

— Глотай, дяденька! Глотни, родимый!

Вид каши был довольно противен — вонючее зеленоватое месиво из тухлого кукурузного зерна, сваренное на горьком масле. В середину месива Чайка воткнул огарок сальной свечи.

— За...чем? — спросил Старичков, трудно двигая языком.

— Скуса в ней нет, — отвечал мушкетер, — это верно, что нет, дяденька, а все же лучше, как сальца набавить. От него крепчают люди. Нашему брату крепость в теле — первая нужда!

Быстрый взгляд Чайки вмиг обшарил горницу. Пленные спали. Удушливо чадил ночник. Все было спокойно. Голос солдата спал до еле слышного шопота:

— На чужой земле, дяденька Ипат, всяк русак другому сродни доводится. Вот и я к тебе, как к отцу кровному...

— Спа...сибо, — тихо вымолвил Старичков.

— Да не об том речь... Как к отцу! Сплю ли, так ли сижу — чую: невмоготу больше молчать. Извелся я в молчке. Все прикинул, в нутре сложил, складно да ладно выходит. Теперь один твой совет надобен. Сказать, что ль?

— Ска...жи!

Чайка побледнел. Круглый нос его покрылся мелким потом. Быстро оглядевшись еще раз, он прильнул к уху Старичкова и шепнул:

— Бежать я постановил, дяденька Ипат!

VII

Старичков умирал. Уже трое суток, как он ничего не ел и только с жадностью глотал холодную воду, которую подавал ему Чайка. Бред то и дело одолевал умирающего.

— Плыви, братец, плыви сюда, — говорил он мушкетеру, — здесь самая глубина!

Чайка не отходил от Ипата. На душе у него было смутно. Недаром сказал он как-то своему названому дяденьке, что на чужбине все русские люди — родня друг другу. Именно такое родственное, чистое и теплое чувство привязывало его к знаменщику. И побег свой Чайка откладывал лишь потому, что не хотел бросить старослуживого в последние горестные дни его многотрудной жизни одного, без попечения и забот.

Старичков бредил долго и страшно. А потом вдруг открыл глаза и, разглядев Чайку, заплакал. Двадцать лет носил Ипат свой солдатский ранец. Каких тягот и бед не довелось ему испытать за громадный этот срок! А не плакал он за все двадцать лет ни разу. Теперь же... Теперь другое дело. Да ведь и плакал-то не сам Старичков, а то слабое, полуживое, израненное, глубоко несчастное существо, которое от него осталось. И плакал Ипат потому, что уж очень нелегко было ему снять с себя приросшую к душе и телу великую тайну. Но это было единственно возможное, что мог он сделать для спасения знамени. Старичков с неожиданной цепкостью ухватил Чайку за руку.

— Слышь, землячок! — прошептал он. — Беги! Не жди... А от меня... от меня... Знамя на мне, Азовского нашего полка, скрыто... Возьми! Доставь! Сам бы... да... где ж! Возьми! Верю я тебе!..

Чайка слушал, широко раскрыв глаза.

— Сквозь зѣмлю пройду, дядя Ипат, а доставлю! — выговорил он так горячо, что холодная рука Старичкова вздрогнула. — Не сумлевайся! Давай скорей, покамест одни мы... Сейчас его округ себя замотаю. Давай!

— Нет! — твердо сказал знаменщик. — Нет, земляк! Сперва клятвой свяжись... Душу заложь... На тот свет идя, знать мне надобно, что... помрешь, а не выдашь!

На глазах Чайки вскипели слезы. На лоб, грудь и плечи его трижды легло знамение крестной клятвы:

— Ни штык, ни пуля, ни вода, ни огонь, ни ласка, ни золото, ни бесово кружало... ни... аминь! Аминь!

После этого Чайка стал на колени и расстегнул на Старичкове мундир. Умирающий в последний раз поцеловал знамя...

VIII

Чайка бежал в ту самую ночь, когда умер Ипат. Свалив французского часового и забив ему рот тряпичным кляпом, бутырский мушкетер пустился вон из города. На улицах было темно, как в яме. Удача шла с Чайкой в ногу.

Всю ночь брел он между взгорками вдоль канала. Утро застало его на болоте, таком пустынном, что он радостно вздохнул, почуяв себя наконец в безопасности. Держась длинных полосок олешиника, который, как известно, растет лишь на нетопких местах, а кое-где и попросту перепрыгивая с кочки на кочку, мушкетер довольно скоро выбрался к берегу реки, крутому и песчаному, с остатками сгоревшего моста. Знакомая переправа! Чайка шел без ошибки. Для такого пешехода, как он, сваи были еще удобнее исправного моста. Очувшись на другой стороне реки, он сразу набрел на лошадь, одиноко стоявшую близ дороги. Чайка немед-

ленно завладел находкой. раны и голода лошадь часто приставала. Однако ... как вывезла его к лесу. Здесь мушкетер простился с ней и двинулся глухой лесной тропой дальше.

Стало холодно. Худые сапоги Чайки подмерзли. Начало пощипывать ноги, но он не обращал на это внимания. Стоило ему потрогать себя за грудь, обернутую азовским знаменем, как вдруг прибавлялись в нем неведомо откуда бравшиеся силы. Он шел и шел, твердо и уверенно, уже совершенно не сомневаясь в правильности своих расчетов. Каждый шаг приближал его к австрийской границе...

IX

Густой и мокрый снег валил на холмы, когда иззябший, оборванный и голодный беглец очутился в русском лагере. Прямо с аванпостов Чайку отправили в штаб тринадцатой пехотной дивизии, а оттуда по принадлежности — в Бутырский мушкетерский полк. Шеф этого полка, толстый и веселый генерал-майор Трескин, сидя на барабане, с любопытством выслушал обстоятельный рассказ Чайки. А когда солдат доложил ему о спасенном азовском знамени, привскочил с барабана и закричал:

— Гей! Накормить молодца и в шестую дивизию препроводить! Немедля! К генералу Готовцову! Раз-два!

Не успел Чайка оглянуться, как уже оказался перед полковым шефом азовцев. Генерал Готовцов, несмотря на позднюю осень, стоял в легоньком балагане из веток и сучьев; такие балаганы звались у солдат «холодками». Здесь-то, в «холодке», и произошла их встреча. Не много недель промелькнуло после Аустерлицкого

боя, но в худом и понуром генерале с совершенно седой головой; с бледным и печальным лицом, по-стариковски медлительными движениями и вялой, тихой речью невозможно было признать прежнего бравого, широкогрудого, громогласного Готовцова. Такие внезапные перемены случаются с людьми только тогда, когда падает на них грозой непоправимое несчастье. Уж не считал ли себя генерал главным виновником аустерлицкой неудачи? Нет. В своем донесении императору главнокомандующий Кутузов с неоднократной похвалой упоминал Азовский полк и геройскую оборону им Працена. Этого мало: в донесении было сказано, что именно редкому бесстрашию и храброй предприимчивости генерал-майора Готовцова обязаны мужественные защитники Працена тем, что более двух часов смогли противиться непомерно сильнейшему врагу. Генерал должен был бы гордиться таким лестным отзывом о себе славного вождя, а он горевал и изводился на глазах у всех. Где же причина?

Пропало знамя Азовского полка. Ведь полк, потерявший знамя, — уже не полк, а просто толпа вооруженных людей, хотя бы и доказавших в бою свое право на честь, хотя бы и предводимых храбрым начальником. Потеря знамени — позор неизбежный. Перенести этот позор генерал Готовцов не мог.

И вот перед ним стоял грязный, мокрый, истомленный трудами и опасностями солдат. И в руках его шелестело, переливаясь складками старого шелка, потерянное знамя. Оно! Оно! Генерал схватил полковую святыню и приник к ней лицом, рыдая и захлебываясь от счастья.

— Знамя! Слава наша при нас! Вернулась! Батюшки-светы, да как пережить мне нынешний день!

К «холодку» сбегались офицеры. За ними мчались

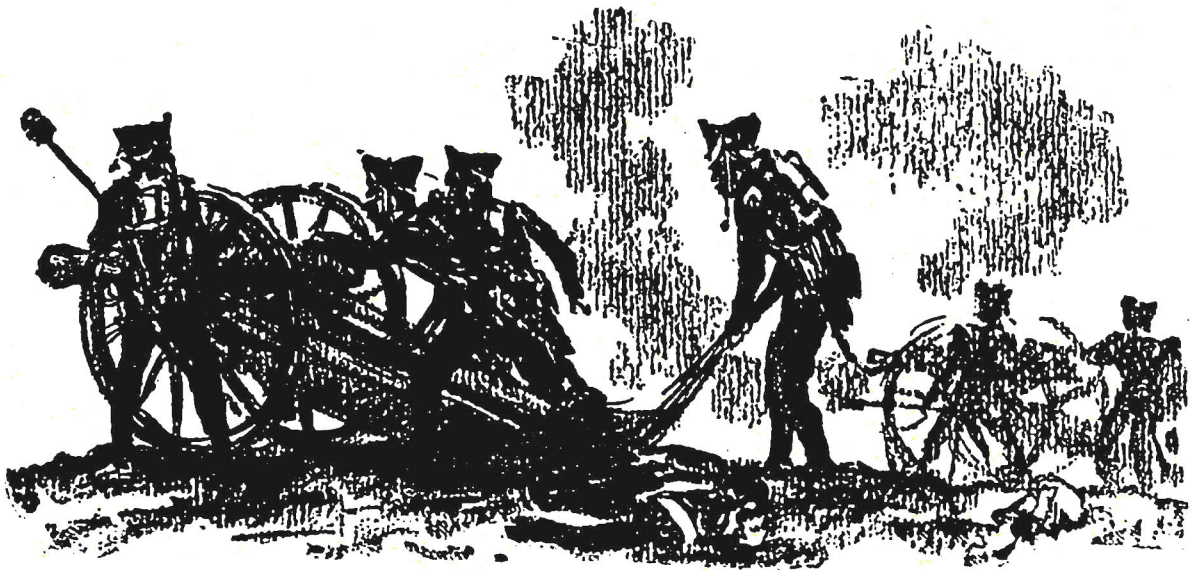
солдаты — без киверов, шинелей и амуниции: до того ли? Через несколько минут весь Азовский полк был на ногах. Музыка играла. Барабаны били «поход». Флейты запевали «Коль славен»... Генерал разложил знамя на столике и, не садясь, а только склонившись над великой находкой, наспех писал рапорт. Покончив с рапортом, он схватил Чайку за руку, вывел из «холодка» и крепко расцеловал на виду у всех собравшихся.

— Помните, господа, — сказал он, обращаясь к офицерам, — слова мои перед боем? Много впишется в историю новых славных имен. Вот, не угодно ли? Два имени навсегда вписались: одно — знаменосец Ипат Старичков, другое — рядовой Максим Чайка.

Готовцов повернулся к солдатам:

— Ребята! Слава наша вернулась к нам! Старичков да этот молодец возвратили ее в полк без ущерба. Учитесь у них, ребята, служить родине! А уж она вовек их верности не забудет!..





СЕКРЕТ СЛАВЫ

I

Вечером 5 августа 1812 года командир легкой роты девятой артиллерийской бригады капитан Тришатный сидел в своем балагане на мешке с подковами для орудийных лошадей и курил трубку. Балаган был заплетен из не успевших еще обсохнуть и потому приятно пахнувших дубовых веток. Против капитана, в вольной позиции, под криво наброшенной на плечи солдатской шинелью, на обломке старого зеленого лафета присоседился канонир. Это был человек длинный, тощий, верткий, как вьюн, с беспокойными, точно у деревенского конокрада, глазами.

Денщик расставил закуску на ящике, заменявшем в балагане стол. Потный графинчик мутно поблескивал

между пестрым табачным кисетом, медным шандалом с огарком толстой сальной свечи, резной деревянной солонкой и тарелкой с куском холодной говядины. Тришатный придвинул к себе две серебряные чарочки.

— Угощайтесь, Рычков. Полынная... Дерет сильно, но для желудка, вроде кислой капусты, прекрасна.

Капитан выпил, крякнул и понюхал воздух. Рычков тоже пригубил. Однако не выпил сразу, а сначала довольно долго полоскал водкой рот. Потом, зажмурившись и быстро крутя головой, проглотил.

— Благодарю покорнейше, господин капитан! Знаменито!

— Уж и верно, что знаменито, — усмехнулся капитан, наливая по второй и старательно разжевывая говядину. — Цельный месяц из боев не выходили, как не истрепаться? Кони без хвостов. Сбруя висит на веревочках. Счастье, что позади запасные лафеты, дроги с лесом да кузни следуют, но и при всем том из восьми трехфунтовых пушек и четырех единорогов, с коими в поход пошли, едва половина в исправности. Кажись, хуже быть не может. А, слава содетелю, превозмогли!..

Канонир живо вытянул из-под шинели худую и узловатую шею, похожую на лопушиный стебель, и сказал с угодливо-сладкой, вовсе не солдатской развязностью:

— Чему дивиться? В командире суть. С вами, господин капитан, и чорта сломаем...

Тришатный пыхнул трубкой.

— Не егозите, Рычков! За вас стыдно... Так ли, не так ли, а на петербургской дороге чистота и французы — за Двиной. Завтра погоним их дальше. Дурно только, что офицеров в роте нет. Прямо говорю: на вас, Рычков, плоха моя надежда. Леший знает, каков были вы

офицер до разжалования. И уж чем с таким позором, разжалованным жить, лучше бы вам честной солдатской смертью в первом бою помереть. Ась?

— Лучше! — с суетливой готовностью согласился разжалованный. — Ей-ей, господин капитан, лучше! Одно во мне благородное желание: либо смерть, либо сызна офицерские эполеты надеть. Впрочем, для последнего случай нужен к отличию. Доказал бы!

Капитан еще раз наклонил графинчик.

— А ну-ка скажите: зелени зазеленелись... Так! Хм! Не довольно ли? Нет?

Тришатный был кряжист, смугл, обвешан Анной, Станиславом, Владимиром и золотой саблей «За храбрость». Круто выпирали из него прочность и сила.

— Д-да! Офицеров нет... Ни единого... Горе! Быть завтра делу. Давеча командир корпуса при мне приказывал на Двине и Полоте понтоны ставить, к переправе. А уж коли переправа, артиллерии первый шанс...

Капитан несколько раз пыхнул трубкой.

— В роте овса тридцать четвертей, дней на шесть... Хм! Хм! Зелени зазеленелись... Д-да! Довольно! — Он обернулся к денщику: — Убирай, братец! Кончили! Офицеров нет... Вот что, Рычков, слушайте меня, как глас с небеси. Хотел я завтра правый расчет фельдфебелю под команду дать, а левый — канониру Коростоеву. Хорош солдат Коростоев, без бахвальства, не вам, любезный, чета. Давно был бы он унтером, а то и фельдфебелем, может и в прапорщики шагнул бы, да в грамоте ни аза. Но вас-то воевать ведь учили. А мне ученые люди нужны. В деле не вы — Коростоев вернее. Но испробую вас. Нечего делать, берите завтра левый расчет. Только, слышь, от пушек ни шагу! При пушках умереть!

— Будьте благонадежны, господин капитан! — восторженно прохрипел Рычков, живо высовывая из-под шинели и пряча назад хваткие руки. — Будьте благонадежны! Уж я...

Тришатный не слушал.

— Гляди, во-первых, чтобы на заре все орудия были картечью заряжены. Второе: часовым стоять с готовыми пальниками. Сухари на запасные лафеты отправить. И завтра... не подведете, Рычков?

II

Давно пришли с водопоя последние лошади и привезли сено. Их не отпрягали. Только у коренных опустили оглобли да оборотили их головами к дышловым. Часа через два, вдосталь налакомившись немолоченными овсяными снопами, лошади заснули. Остроухий месяц встал неподвижным дозором на самой середине глубокого темного неба. Бледный свет его разливался холодной дрожью вдоль Полоты; ветер налетал на реку и гнал перед собой блеск ночи. Лагерные костры дотлевали и горько дымились. К одному из них подошла длинная солдатская фигура, узенькой журавлиной стати, и позвала:

— Да-ни-лыч!

С другой стороны костра на зов откликнулась круглая голова в больших русо-пегих бакенбардах:

— Чего надобно? Чтой-то вы, сударь, ровно ко-рова на сносях, нет вам покою. Али опять где хлебнули?

— Пустое, Данилыч! Это пустое... А ты пойми, что случилось. Три года ждал. Устал, ждавши...

Солдат в бакенбардах сел и зевнул, крестя рот.

— Сколько разов совет вам давал: как ни уставши, а первое дело у костра онучи обсуши да оправься. Без того волдырь съест.

— Сам ты, Данилыч, волдырь, — возмутился Рычков, — ей-ей! Вот мы, два рядовых канонира российской армии. По названию — товарищи, но в одном душа широкая, полная, а в другом заместо души — пустой голик. Эх, Данилыч, ничегошеньки ты не понимаешь!

Коростоев с сердцем посмотрел на разжалованного и подумал: «Не видать, чтобы очень пьян был, а языком молотит, ровно из ведра черпал».

— Уему на вас, сударь, нет никакого! Поехала кума неведомо куда...

Канонир Коростоев считался лучшим солдатом в легкой роте капитана Тришатного. Служил он уже семнадцатый год и лет десять — все при одном и том же оружии. Походов отломал множество. Никогда не пил и вообще на дурном замечании не бывал. Наоборот, удивлял роту рассудительностью поведения и редкой ловкостью солдатских сноровок. Коростоев был вечно занят и все умел: шил сапоги, поправлял конскую сбрую, лечил у лошадей подпарины от хомутов и седел, чинил оси у лафетов и зарядных ящиков, и от всех его занятий получался прямой толк. Сейчас он сердито глядел на смутно маячившую перед ним журавлиную тень и думал: «Да что ты постиг? Что умеешь?»

У разжалованного было радостно-взволнованное, но бледное и как будто захватанное нечистыми пальцами лицо. На тонких губах его прыгала не то жалкая, не то наглая ухмылка. И сам он тоже подпрыгивал, словно от нетерпения, ежась, покашливая и старательно уводя глаза из-под прямого коростоевского взгляда.

— Ну, хорошо! — говорил он. — Ну, случилась со мной в былое время беда. Смахнули с меня эполеты,



повернули из поручиков в солдатскую шкуру. Ты только сообрази, Данилыч, как с высоты-то мне было лететь! Ух! Лежу плашмя! Доконали... Лежу...

— И лежите! — буркнул Коростоев.

— Врешь! Не хочу! Взлечу! Жалованья по чину лишился — в годовую треть на ассигнации девяносто три рубля с копеечками... Плю-увать! Но ведь душа-то во мне... жаждет! Страждет! Тришатный мне помереть велит! А, Данилыч! Брешет Тришатный...

— Ничего не брешет! — решительно отрезал Коростоев. — Вы на себя, сударь, гляньте, каков вы есть. Я вам скажу: возьметесь командовать, вас и люди не послушают.

Озадаченный Рычков задумался.

— А поч-чему? Погоди, погоди! Не хамствуй! Да ты знаешь, олух, что капитан мне на завтра в команду весь левый расчет отдал? Не знаешь? Да я, может, завтра самого маршала Гувьон де Сен-Сира сражу! Маршала Удино за уши сюда приволоку! И сразу густые эполеты надену! Для славы смерти не боюсь!

— Было б над чем ликовать! Вам слава для чинов нужна, вот вы за ней и гоняетесь. Главная ваша причина — чин. Эх, сударь! Самого простого понятия у вас нет. Никогда не будет у вас славы, Другой у славы секрет. Кто к нему дойдет, тому слава!

Рычков от волнения покраснел. Он уже не улыбался прежним, гадким манером и не суетился глазами.

— Разбередил ты меня, разбойник! Говори секрет! Говори!

— Коли о том зашло, извольте-с, — нехотя вымолвил Коростоев. — Вот секрет: со всей умелостью отечеству собой послужить даже до смерти. И того, кто сумел, вспомянет Россия вечной славой!

III

Легкая рота капитана Тришатного стояла возле Присменицкой усадьбы, в которой размещался штаб первого корпуса. С этого высокого места были ясно видны понтонные работы на Двине и Полоте. Два моста готовились принять русские войска и переправить их 6 августа, в полдень, на занятый французами берег. Солнце еще не поднялось. Сырая мгла висела над лагерьем. Тришатный обходил роту. Все было в порядке. Орудия таили в своих жерлах тяжелую картечь. Скорострельные трубки стояли в запалах. Зажженные фитили торчали у земли близ пушек, светясь, как раскаленные угли. Тришатный взобрался на песчаный бугор. Он пристально вглядывался в противоположный берег. Сквозь туманную сетку рассвета на нем отчетливо различалась низенькая березовая посадка.

— Что за притча? — пробормотал изумленный капитан. — А ведь леска-то вчерась там не было. Откуда же он взялся? Да еще и ворочается, как живой...

В серых глазах Тришатного зажглась тревога. На миг он замер.

— Батюшки! Да ведь это французы через реку на наш берег ширяют...

Чугунное тело капитана скатилось с песчаного бугра вниз.

— Коня! — рявкнул он.

IV

Случилось то, чего никак нельзя было предвидеть. Еще ночью французы начали переправляться вброд с левого на правый берег Двины, предупредив наступательное движение русских войск. Утром их головные

части дальним заходом обогнули лагерь. А затем открыли жестокий огонь по селению Присменица. Бой грянул, как гроза, неслышимо скопившаяся в чистом небе. Солнце взошло. Дунул ветер и разнес туман. Определилось, что французы наступали на Присменицу с нескольких сторон враз — и в лоб, и от деревни Спас, и справа. Их дивизии шли и колоннами и развернутым строем. Артиллерия открывала пехоте путь.

Место, на котором стояли орудия Тришатного, было незавидное. Неприятель живо разглядел батарею и принялся угощать ее ядрами. Капитан командовал:

— Первое...

Навстречу французской атаке из Присменицы скорым шагом выходила русская пехота.

— ...пали!..

Грохнуло. Впереди словно лес поредел, стало светлее. Это целая шеренга французов легла под картечью. Пехотные офицеры, уже поровнявшиеся с орудиями, закричали:

— Bravo! Вали им за пазуху! Спасибо, капитан!

От этих похвал и благодарностей орудийная прислуга раскуражилась. Тришатный приговаривал:

— Не торопись, ребята! Спокойней!

Французы заметно подавались назад, припадая за плетнями. Зато артиллерия их опять заголосила. Косачьего мяуканья ружейных пуль не стало слышно. У первого орудия расщепило ось и лафетную доску. У третьего вышибло косяк из колеса. Ахнул и плавно опустился наземь номерной человек...

Французская атака то вздрагивала и, внезапно вскипев, волнуясь и бурля, откатывалась назад, то опять наваливались прибоем синих волн. Штыковые сшибки завязывались и развязывались по всей линии боя. Гранаты уже не визжали протяжно и где-то наверху; они вжика-

ли где попало, лопались с перекатным треском и рассыпались тут же букетами светлых звезд. Осколки их шуршали под ногами. Куда ни глянь, таяли люди. Некоторых разносило в клочья. То одно, то другое орудие валилось на сторону. Два единорога и три пушки уже беспомощно и жалко лежали на сломанных станках.

— Замена! Замена!

Замена являлась. И откуда-то на галопе подскакивали новые зарядные ящики. Капитан Тришатный вертелся среди дыма и огней, грохота и рева канонады. Он то припадал к пушкам, чтобы уследить, где рвутся снаряды, то поправлял наводку...

V

Коростоеву казалось, что он в чаду и что чад этот все сгущается. Уже ничто не могло заглушить звона в ушах и столкнуть с сердца свинцовую тяжесть. Хотелось только, чтобы время шло скорей. Скорей! Коростоев работал и лихорадочно ждал чего-то — чего, он и сам хорошенько не знал. И вдруг увидел: четыре солдата пронесли мимо него капитана Тришатного.

— Эй, Данилыч! Командуй! Нивесть что делать!

Коростоев обернулся. Кто крикнул? Все равно. Левый расчет действительно был без командира. Рычков куда-то пропал. Все делалось само собой.

— Данилыч, командуй!

VI

Перед Коростоевым стоял Рычков в прожженной шинели с оторванным воротником. По всей видимости, он только что выбрался из порядочной свалки и, радостно подпрыгивая на длинных сухих ногах, все крепче

ухватывал за рукав окровавленного французского лейтенанта. Какой-то пехотный солдат вязал пленнику руки за спиной.

— Капитан убит! — крикнул ему Коростоев. — А вы, сударь, что ж?

Но разжалованный взметнул перед носом канонира бумажный сверток.

— Видел? В контратаку с пехотой ходил... Важного «языка» привел... с бумагами. Счастье, брат, за волосы поймал!

Пленный француз, пехотный солдат и Рычков исчезли еще внезапно, чем появились. «В штаб помчал, эпюлеты цеплять!» сообразил Коростоев и услышал за спиной:

— Данилыч, команду!

VII

Наконец наступила такая минута, когда все лежало кругом старого канонира. Орудийные номера были перебиты до последнего. Один Коростоев попрежнему стоял у своего орудия, наводил его и, держась правой рукой за подъемный винт, командовал:

— Влево! Вправо! Еще влево — на чуть! Второе, пали!

Уже теперь никто не принимал этой его команды, кроме него самого. Но второе орудие исправно рявкнуло. Шипя и гудя, неслась вперед выплюнутая им картечь. Горячий пороховой дым взмывал кверху белым облаком. От каждого нового выстрела прибывало в Данилыче силы и уверенности в своих действиях. Он был один и ни от кого ничего больше не ждал.

То, что делал сейчас Коростоев, он делал и раньше

бесчисленное количество раз: подавал картуз, закладывал в дуло, наводил пушку, притыкал заряд... Но раньше он всегда делал эти движения таким образом, что они перемежались с офицерскими командами. Офицерские команды были естественной неизбежной частью канонирской работы у орудия. Они входили в эту работу со стороны и потому облегчали ее. Без них нарушалась последовательная четкость движений канонира, и от этого работа его становилась сбивчивее и труднее. Когда Коростоев в первый раз громко приказал самому себе: «Второе, наводи!», он сделал это просто потому, что без команды было непривычно и неудобно наводить. Но после встречи с Рычковым возникло еще и другое. «Ага! Побежал эполеты цеплять... Ну, а мне этого не надо! — мелькало в голове Коростоева. — У меня душа — голик. Сам я... сам... До конца сумею!»

Он командовал за офицера, чувствовал себя офицером и на самом деле был им.

VIII

Французская кавалерия шла малой рысью прямо к Присменице. Коростоев видел, как высоко вскидывались в передних шеренгах стройные, тонкие ноги вороных коней, как сверкали длинные палаши и огромные ботфорты усатых всадников. Все ближе и ближе горели под солнцем латы и каски с конскими хвостами.

Но у Коростоева не было больше зарядов. Канонир оглянулся. Со стороны Присменицы тоже двигалось что-то громадное, катилось тяжелой, но быстрой лавиной, с такой неумемной силой топча землю, что она стала.

«Родимые, родимые идут! — догадался Коростоев. — Только бы теперь до конца суметь!»

Он бросил банник, вынул саблю и стал около своего орудия.

IX

Командир французского кирасирского полка, здоровый, плотный мужчина, на лошади чудовищных размеров доскакал до самого усадебного дома в Присменице и был там изрублен русскими драгунами. Полк же его расстроился и повернул назад еще раньше. Гнедая туча русских драгун уже неслась на хвосте у латников. Грозный вихрь контратаки мчался через песчаные бугры, густо засыпанные снарядами, осколками, колесами от лафетов, сломанными гандшпугами, банниками, разбитыми картечными картузами. Много валялось здесь всякого добра... Только от канонира Коростоева, который сумел с такой славой умереть за родину, вовсе не осталось никакого следа. И отыскался его след не на месте Полоцкого боя, а в истории русской военной доблести, в наши дни.



Цена 80 коп.



**ВИВЛОТЪЧКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА**

за 1946 год:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| В. Маяковский | — Владимир Ильич Ленин. |
| Э. Багрицкий | — Дума про Опанаса. |
| П. Бажов | — Голубая змейка. |
| А. Гайдар | — Пусть светит. |
| С. Голубов | — Дядя Ипат и Чайка. |
| В. Гроссман | — Сын комиссара. |
| Б. Житков | — Дяденька. |
| В. Инбер | — Стихи. |
| Л. Кассиль | — Огнеопасный груз. |
| В. Катаев | — Флаг. |
| С. Ковпак | — В Кремле. |
| А. Кожевников | — У Каменной Гривы. |
| М. Пришвин | — Дедушкин валенок. |
| А. Сурков | — Песня смелых. |
| Р. Фраерман | — Подвиг в майскую ночь |

**и другие произведения
советских писателей.**